

Эд. Аветян

РЕЧЬ И ЯЗЫК

Когда речь заходит о мышлении, его, по крайней мере интуитивно, определяют как деятельность сознания, приписывая последнему функцию деятеля. Наша внутренняя убежденность, созерцающее начало интеллекта отказываются признавать причастность к мышлению других семей животного царства, хотя пчелы, муравьи и даже пауки выполняют временами тонкую работу и придерживаются рациональной структуры общежития и труда. Попытки обнаружить чувство и мышление во внечеловеческом порядке жизни свидетельствуют лишь о том, что специфически человеческое достояние подготовлено предыдущей эволюцией и в части своего содержания совпадает с ее результатами. В этом смысле эмбрион чувства обнаруживают даже у растений, наделенных столь тонкой раздражительностью, которая граничит с чувствительностью (см., например, превосходную работу Р. Франсе «Чувство у растений»). Тем не менее, подлинно мыслительный процесс как рефлектирование непосредственного отражения не представим в отрыве от сознания, образующего сущность интеллектуального процесса. Но в речи часто употребляется закрепленный языковым узусом оборот, правильность которого постоянно подтверждается опытом,—«необходимо выработать сознательность», повергающий в недоумение того, кто на примерах самого же непосредственного словоупотребления обнаружил сознание предпосылкой мышления. В действительности в семантических моделях языка никогда не оседают явные алогизмы, и противоречивость некоторых из них образует *contradictio in adjecto*.

Генетически начало сознания относится к тому исторически не зафиксированному периоду, когда отражение непосредственной действительности преобразуется в рефлексию отражения. Психологически этот процесс сознания переживается нами постоянно. На близком расстоянии, на виду—и в этом существо внутренней противоречивости—контуры реальности плохо видны. В поле зрения оказываются подробности, но не сущность фактов. Силу вторичного отражения признал над собою Ван-Гог, создав «Едоков картофеля» в отрыве от модели, в то время как перед лицом последней он не творил, а выписывал сценку жизни. Решив обдумать наедине факты, копаясь в памяти с целью лучшего осмысления интересующих нас событий, мы прибегаем к сознанию вещей на основе их первоначального знания. Как отвлеченно-логическое рассмотрение, так и повседневный опыт подводят к выводу, что хотя мышление есть деятельность сознания, но вне действительных акций мысли его не существует. Сознание, то есть осмысление непосредственного знания, является возможностью и внутренней значимостью мышления. Первая акция мысли оказывается в то же время первым явлением сознания. Поэтому система понятого соотношения с миром, или сознательность, должна быть еще выработана. Одним словом, будучи значимостью и предпосылкой мышления, сознание само проясняется в положительных акциях мысли. Этим и снимается видимая противоречивость некоторых семантических моделей языка (как и видимая несостоятельность выражения «одним словом», имеющего глубокие и вполне логичные корни).

Язык представляет такую же возможность и внутреннюю ценность речевых актов, в которых должна сложиться определенная система языка. Действительное состояние вещей выясняется как развитие реальной возможности. Эта реальная возможность, в отличие от возможности вообще, есть предпосылка. Для мышления такой предпосылкой оказывается чувственное, или непосредственное, отражение. В акциях мысли дается знание первичного знания, или сознание. Оно оказывается опосредованием того, что по отношению к мышлению пребывает в ранге факта,—предназначенной и непредна-

меренно, под диктатом потребностей, отраженной действительности. Предпосылкой сознания оказывается, таким образом, непосредственное отражение, данное в чувственном восприятии мира в качестве предпосылки мышления. Чтобы язык, как ставшая с синхронного аспекта система речи, оказался реализованным, необходимо его столь же закономерное опосредование реальной возможностью.

Независимо от того, наличен ли какой либо акт намеренного сообщения, все определенно существующее устанавливает линию передачи к воспринимающему. Если оно обладает способностью нечто говорить чувству или мысли, тем самым в нем заложена произвольная информативность. Наиболее общее определение, опускающее специфические характеристики, которые можно дать языку, исходя из фактически проявляемой сущности, сводится к толкованию его как одного из средств информации.

В последние десятилетия, наряду с явно выраженным структурализмом и прикладной лингвистикой тенденцией сузить круг вопросов, занимавших классическое языковедение и философскую мысль, в науку о языке прочно вошло чрезвычайно важное понятие информации. К сожалению, проблема эта занимает современную науку, в основном, с количественной стороны и передана преимущественно в ведение положительных дисциплин. С точки зрения общетеоретической более важно установить источники информативности, благодаря которой оказывается возможным общение как обмен положительным содержанием. Автономистические стремления современного структурализма привели к тому, что язык стал рассматриваться как замкнутая гомогенная система, и все пограничные области, выясняющие место языка в общей иерархии действительности, оказались решительно элиминированными. Такой абстрактно-рассудочный подход, расчленяющий динамическое единство природы на разрозненные сферы, столь своеобразный «научный сепаратизм» разрешается пренебрежением к общелогическим основам любой проблемы, указывающей место данного явления.

Диалектический метод, оказавшийся в полном забвении у некоторых школ современной лингвистики, что предопределило их философскую ограниченность, требует как раз рассмотрения вопросов языка в самом широком теоретическом плане и во взаимодействии всех факторов, определивших его конституцию. Такая высокая организация, как человеческое сознание и, несомненно, его производное—язык, не могли вырасти на пустом месте. Если мозг современного человека, техническая и культурная структура современного общества неизменно оцениваются как продукт последовательной эволюции более примитивных образцов, вполне закономерно ставить вопрос, откуда берется реальная возможность, или предпосылка, тонко и глубоко организованной языковой информации. Иначе, где нужно искать соединительное звено между миром природы и культуры в том важнейшем пункте последней, которая именуется языком. Является ли язык всецело изобретением человека, или рассмотрение в некоторых аспектах его эволюции приводит нас в мир природы?

Относительно человека не только прочно принято, что он развился из более низких ступеней животного царства, но и значительный ряд его биологических функций оценивается как природное начало в нем, хотя и, вполне закономерно, в «снятом», употребляя термин Гегеля, виде. Но когда тот же вопрос переносится в сферу языка, намечается тенденция рассматривать его как всецело социальное явление, без того опосредствующего природного материала, определенный пласт которого неизбежен в мире культуры и несколько не компрометирует его социальный профиль, как не унижает архитектора или скульптора необходимость использовать самую аморфную материю.

Уже необходимость обращаться к такому материалу, как звук, соединяет социальную по существу науку языковедение с науками естественными. Преодоление физиологических критериев в фонетике и обращение к характеристикам акустическим отделило лингвистику от естественных наук. Интересно хотя бы отметить, каким образом Шлейхер и Мюллер находили основание для сравнения языка с организмом, а языкознания—с естествознанием. В первую очередь, разумеется, вследствие того, что, как говорил Мюллер, материальный состав языка остался на протяжении веков неизменным. Это преувеличенное представление о природном основании языкового субстра-

та было столь сильно, что тот же Мюллер, связывавший истинное начало языка с первыми проблесками ума, не видел недостаточности отнесения языковедения к естественным дисциплинам, хотя бы в соответствии со своими собственными убеждениями.

Язык становится социальным явлением не благодаря разрыву с природой, а посредством его разумного преодоления, или «снятия». Если эта связь с природным субстратом высказана в науке отдаленными намеками, то в конкретном словоупотреблении, в особенности в т. н. метафорах, отложилась непосредственная мудрость говорящего коллектива, доказывающая понимание непрерывности развития информационных структур. В первую очередь речь идет о таких общеупотребительных метафорах, как «язык молчания», «язык природы», «птичий язык», «язык музыки» и т. д. У Пушкина например, встречается такая фраза:

Невинной деве непонятен
Язык мучительных страстей,
(«Бахчисарайский фонтан»)

В данном случае нельзя просто отмахнуться ссылкой на то, что это просто «перенос». Для любой поэтической вольности, пусть не имеющей научной ценности, должно быть достаточное основание. Рембрандт в своем знаменитом полотне «Возвращение блудного сына» обернул героя картины спиной к зрителям. Все действующие лица молчат, передавая своим молчанием пафос скорби и всепрощения. Картину эту можно толковать как апофеоз информирования молчанием. Страсти сами по себе не говорят, но они, выступая на линию передачи, определенно высказывают свое содержание. Разве «язык музыки» не передает нам нечто такое, что можно перевести в определенные термины собственно языка? Колебание листьев на дереве не информирует ли наблюдателя о совершившихся процессах в атмосфере? Во всех указанных структурах есть определенное тождество и неизбежное различие. Во-первых, все, что выражено, способно передавать наблюдателю некоторое содержание, т. е. информировать его. Следовательно, то, что в природе «говорит», есть фактор выражения.

Принцип выраженности является провозвестником речи, применяемой только по отношению к звуковому человеческому языку. Но в то же время все выраженное имеет определенное значение, содержание, то, что передается наблюдателю. Обращенный к груди указательный палец есть, например, известная форма выражения, значение которого переводится ситуационно понятием «я». Хотя в феноменологическом плане первично выражение, оно обусловлено логически некоторым присущим ему значением. Когда Пушкин говорит о «языке страстей», он имеет в виду ряд видимых акций, свидетельствующих об их внутренней ценности—страсти. В «языке музыки» выражением является установленная организация звуков, в то время как содержанием оказывается значение, передаваемое этой организацией. Любая форма информирования, как посредством природного, так и преобразованного культурой средства, предполагает изначальное единство выражения и значения. Попытка распределить эти две стороны по разным шкатулкам—образец плоского идеализма. Природа, как динамическое единство, по меткому выражению Канта, не терпит такого плоского рассудочного насилия. Уже в непосредственных образцах информирования выражение (как предпосылка речи) и содержание (как предпосылка языка) совершенно неотделимы. Это тот первый кардинальный вывод, который должно сделать при рассмотрении информационных структур в природе,—вывод, настораживающий ко всякого рода антидиалектическим и антинаучным построениям.

Человеческий язык в собственном смысле есть не что иное, как деятельная, или динамическая, информационная структура, продукт того активного выражения содержания, которое именуется речью. Между «языком» и «речью» существует определенное терминологическое различие, вызванное разной манерой рассмотрения объекта. Когда фонематический способ информирования оценивается с аспекта сущности, или содержания, мы имеем термин «язык». Когда оценивающая способность переносится

на фактор выражения, или деятельности, появляется термин «речь». И не трудно убедиться, что наше непосредственное словоупотребление вкладывает в указанные понятия именно такое содержание (ср. «в речи ученика», то есть в его определенной языковой операции, но «без надобности усложненный язык», то есть продукт речевой деятельности с аспекта содержания). Ни античная мысль, ни классическая философия и филология не доходили до противопоставления языка и речи, синхронии и диахронии, хотя постоянно имели в виду терминологическое различие. Даже для самого Соссюра¹ исторически факт речи предшествует языку.

Действительно, разве конкретное высказывание, как речь, не есть одновременно языковая деятельность? Имеет ли язык какое-либо иное существование, кроме как этих «кратковременных» речевых актах? Попытка представить его как чистую форму — опять-таки рассудочная абстракция: форма не обладает независимым бытием. Разделенность формы и содержания имеет теоретический смысл, а не положительную реальность. Но даже в теоретическом разрезе, оперируя категориями формы и содержания, можно сказать, что язык образует не форму, а содержание: положение формы занимает явление языка, или речь. То, что есть информационного в речи, и составляет его языковую ценность². И так же, как неделимы выражение и значение, нереально и противопоставление языка и речи. Непосредственной реальностью языка является речь. Между конкретно наличным языком и способностью к языку лежит процесс превращения последнего в первое; а эта непрерывная деятельность и есть речевая работа. Человеческий язык относится к структурам динамическим. Но в отличие от таковых в природе, где значимое начало выясняется в человеческом толковании, процесс обмена информацией осуществляется при двусторонней сознательной связи.

Однако язык не есть чисто человеческое изобретение.

Ближайшая предпосылка языка — звук, наделенный информационностью вследствие того, что он сигнализирует об экстраязыковой действительности. Первичным, предъязыковым феноменом является акт непроизвольного информирования посредством звука — спонтанный звуковой сигнал, относительно которого, как непосредственного начала, нельзя ставить вопроса о каких-либо реальных предпосылках, если оценивается та эмпирическая сфера, которая именуется собственно языком. Звук, — непроизвольный звуковой сигнал, — это тот преднайденный природный материал, которым пользуется говорящая масса в целях создания общественно-культурных ценностей. Физическое звучание образует основную конституенту языковой действительности. Но в то же время ясно, что специфика языковой сигнализации не исчерпывается этой характеристикой. Звуковая сигнализация, осуществляемая как спонтанно, так и посредством разработанных приемов, присуща массе других информационных структур. Спонтанный звуковой сигнал должен получить дополнительную характеристику, указывающую на его человеческое происхождение. Такой характеристикой является интонация. Она подготовлена всем предыдущим составом опыта. Язык страстей, есть, например, способ передачи существенного содержания страсти; способ, как манера выражения, — провозвешение интонации, по которой узнается характер озвученного содержания. Когда бросают упрек: «Каким языком вы со мной разговариваете?» — имеют в виду и понятливое начало речи, и тон, то есть единство интонации и фактического содержания. Каждое специальное применение термина язык есть приспособление его к особой действительности, воспроизводимой соответствующим способом.

Любой интонационный рисунок является свидетельством особого самочувствия — от ставшего общенациональным, например, интонационные особенности английской речи, до мимолетного, подсказанного преходящим настроением. Чтобы известный отрезок звучания стал, при отсутствии предварительной договоренности, репрезентатором определенного значения, он должен быть постоянен. Но тожество в свою очередь за-

¹ См. его «Курс общей лингвистики», гл. IV.

² Форма и содержание не отмечены неподвижностью. С изменением аспекта изменяется и соотношение между ними.

зависимо от различия. Чтобы данный отрезок означал то, что он означает, он должен отличаться от другого звучащего отрезка. Два отрезка обособляются первоначально друг от друга интонационной окраской. Этот фактор и придает звуковым сигналам информационную ценность в ранге языка. Интонация—первая специализация звука на арене речевой работы, первый человеческий признак сигнальности. Таким простым приемом сигнализации часто пользуются и теперь в тех случаях, когда по каким-либо причинам невозможно употребление концептуально значимых единиц.

Интонационная кривая полагает границу между двумя сообщениями, каждое из которых предлагается вниманию адресата как минимально завершённое высказывание, или предложение. Независимо от длительности и степени дифференцированности, оно обозначает минимум информации, придающий высказыванию характер сообщения. В возникновении своем оно целиком подсказано ситуацией, т. е. отражением внешней обстановки говорящим. Предложение не есть, таким образом, формула, подобно суждению, вставленному в раму предложения, а конкретное высказывание, развернутое в строго ограниченных координатах времени и пространства, поскольку именно в нем дается интерпретация событий, происшедших здесь и теперь. Предложение очеловечивает суждение уже тем, что некоторая всеобщая ценность оказывается неожиданно апперцепированной в конкретных обстоятельствах. Это—всегда сущность в некоторой полноте, что метко схвачено в самом названии.

Внутри интонационных отрезков, проводящих границу между предложениями, выделяются звуковые единицы, границы которых ощущаются вследствие того, что они наделены минимумом значения в пределах целого, то есть отмечены некоторой автономностью. Такая минимальная общесемантическая величина именуется словом. В отличие от предложения, имеющего ситуационную ценность (Приди ко мне! Хорошо! Идем на прогулку.) и, следовательно, психологичного, слово отмечено большим постоянством значения и причислено к величинам понятийным, к моделям возможной фиксации некоторых констант. Слово и предложение оказываются взаимосвязанными. Когда сообщение осуществляется в форме одного слова, оно целиком принимает на себя функцию предложения, становится законченным высказыванием. И, наоборот, слово в пределах предложения лишается части своей логической, понятийной строгости, психологизируется, неожиданно принимает новое значение, проникаясь духом целого и освещаясь смыслом ситуации. Например, в предложении «Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, сохранявшийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком» (Достоевский. «Неточка Незванова») слово черный, сохраняя свое непосредственное значение, благодаря смыслу целого получает дополнительное значение хороший, добротный или даже элегантный (кто не видел черных фраков того времени, тому ведь и трудно судить!—таков ситуационный профиль предложения). Здесь предложение психологизировало, очеловечило значение слова черный, вывело его из бездушной концептуальной связанности.

Предложение, в свою очередь, логизируется словом как репрезентатором значения и в известной степени формализуется. Формализм предложения состоит в том, что оно пользуется известными образцами понятий, и только их выбор предоставлен некоторой свободой. (Приди ко мне и Явись в пивной бар в определенной обстановке могут означать одно и то же, но Приди ко мне и Ни с места! уже взаимно исключают). Одним словом, предложение свободно в той мере, в какой свободен выбор из ряда наличных моделей. У творцов оно несомненно свободнее, чем у тех, кто умеет высказываться лишь по внушенным образцам. Это верно и не только относительно выбора элементов высказывания, но и синтаксической организации предложения, где редко в чистом виде применяются указанные грамматиками нормы конструирования фразы. Тем не менее, формальные ограничения неизбежны в целях сохранения за речью постоянной социальной значимости. По отношению к слову они более значительны, чем к предложению: слову приписано значение, тогда как предложение должно создать смысл, пользуясь словами. В силу этой связанности со значением, слово, постепенно камеея (в особен-

ности в словарях и в нетворческом использовании языка), становится знаком понятия.

Компоненты знака формализованы в еще большей степени, чем сам знак, могущий в ряде случаев быть заменен другими, и уже вполне свободны от груза вещественного смысла. Над ними поэтому, как и над несовершеннолетними, устанавливается наиболее строгий языковой надзор. Однако строгость контроля над звуковыми компонентами знака сильно преувеличивается. Он особенно силен в тех случаях, когда нарушение границ звука ведет к смещению знаков (ср., напр., нем. *bieten* и *bitten*). В действительности, звук знака не имеет постоянной скульптурной, четко очерченной, отчужденной формы. Последняя соблюдается лишь в той мере, в какой это необходимо в целях нормального общения с сохранением типа языка. Этот минимальный социально принудительный элемент знака есть фонема. В ней завершается эволюция интонации, подбирающей законченный звукоряд, к наиболее возможной в пределах языка форме. Но именно потому, что фонема лишена непосредственной значимости, абстрактна, она более всего приспособлена к функции строителя смысла.

Формализация фонемы поставлена на ту прочную опору, которую не разъедает даже интонация, ломающая предложения и формы знака. И тем не менее этот враждебный интонации элемент речи находится в таком же отношении, как детали машины к конструктору. Интонация играет по отношению к фонемам роль не фантастического творца из ничего, а разумного мирообразователя, конструирующего мир из предназначенных или обработанных элементов. Непроизвольные звуки, издаваемые нами, не создаются в минуту фонации; но их подбор и не поддающаяся позитивному, «физикалистскому» определению окраска всецело зависят от настроения, которое отражается в интонации. Случайный подбор звуков, даже произвольная и неопределенная, не фонемная сигнализация, подобно плачу, вздоху или смеху, приобретают значимость исключительно в силу интонационных факторов. Но и в условиях наличия фонемных единиц их окончательная шлифовка производится интонацией. Система английских фонем есть производная от английской интонации, вследствие чего почти ни одна из них не совпадает с фонемами близкородственного ему немецкого; французские фонемы столь прочно утверждены французской интонацией, что преобразование их исказит французскую речь; будучи весьма близким в лексической и грамматической системе к итальянскому языку, испанский располагает фонемами, присущими интонационной субстанции испанской речи.

Интонация—не единственное, но первое отличие языков, и принадлежит она живой речи. Место ее в речи не столь внешне и поверхностно, как может показаться на первый взгляд. Оно всецело завладевает речью и приводит к такой ее организации, по которой можно судить о культуре говорящего, как и об общей значимости речи. На эту последнюю сторону обратил внимание М. Ю. Лермонтов в превосходном стихотворении «Есть речи—значенье темно и ничтожно».

Привлечение интонационных факторов, правда, кажется скользким, поскольку у говорящего почти неограничена возможность интонирования. Но единая интонационная пульсация, сохраненная в любом трепете речи, становится главной произносительной основой языка. Подобно тому как двум разным характерам присуща своя интонация, так и два коллектива, непохожие друг на друга, создают каждый свой тип речи со своеобразным интонированием. Обособляясь вследствие этого, они полагают начало двум разным языкам. Такой вывод, основание которому положено в принципе различения первых спонтанных сигналов, предворяющих эмбрионально языковые различия, можно сделать, исходя из банального наблюдения, что нет хотя бы двух языков, интонационно целиком совпадающих. Но это только следствие, имеющее причину в более глубоких факторах предопределяющих самоё интонацию. Кривая последней предопределена настроением, которое может быть мимолетным. По манере говорить опытный глаз без труда распознает характер говорящего. Но интонация является своеобразным индексом, сигнализирующим о более существенных языковых различиях. Она, таким образом, оказывает воздействие на грамматический строй не прямо, а в силу связанности с субстанциальным характером, с психологией и мироощущением говорящего

коллектива. Каждый характер создает свой особый язык или соответствующим образом видоизменяет доставшееся ему наследство. Словоизменения,—как и другие грамматические подробности,—факты речи, продукты присущей данному языковому коллективу техники выражения, зависящей в свою очередь от характера говорящих. Таким образом, то, что именуется грамматикой, спецификой языка и даже его сущностью, существует в образе непосредственной действительности как ряд общепринятых отложений речевой техники. Интонационное своеобразие предопределяет своеобразие грамматическое. Язык есть не что иное, как общепринятая урегулированная система речи. Грамматический строй не вкладывается в язык сознательно, подобно тому как не вкладывается в мифы их философская сущность.

То, что именуется специфической языковой ценностью, принадлежностью и основанием системы, а именно—грамматика (поскольку фонематическое богатство все-таки принадлежит специфике речи) оказывается существенным содержанием речевых актов, наподобие ритмической структуры стиха, относящейся к правилам поэтики, как речь в грамматике. Речь—первоначальная и положительная жизнь языка, подобно тому как стих—первичный феномен поэзии. И в этой же мере, аналогично тому, как можно изучать поэзию, не прибегая к специально сочиненным руководствам, возможно знание языков без помощи грамматики, если погрузиться в живую стихию речи. Действительный язык со всеми его нормами представлен в реальных и возможных речевых актах. И поскольку деятельность речи непрерывна, становление языка никогда не прекращается. Язык, в смысле нормы, всегда отстает от речи, малоприметно, но неуклонно изменяющей его во всех аспектах. Системность, законченность языка относительна; о языке как определенной системе можно говорить лишь потому, что в каждом данном промежутке времени прогресс речи, всецело обуславливающий прогресс языка, не слишком рельефен.

Все существующие ныне языки, следовательно, и язык вообще, в данном виде не существовали до речевой деятельности; они, несомненно, ее продукт. Но с другой стороны необходимо объяснить, как возможна речевая деятельность, с самого начала имеющая звуковую ценность; речь не только *post festum*, но и по понятию своему, есть языковая реальность. Первый речевой акт есть нечто, в котором закладывается основа языка. Иначе, языки вышли из речи не случайно, а потому, что она с самого начала была обременена языком и представляла безусловно ряд его феноменов. Одним словом, в первых речевых актах наличен эмбрион языка, соответствующий его динамической информационной системе (т. е. сигнализации) в звуковой форме.

Язык не есть некоторая дурная свободная деятельность. Он связан непрерывной преемственностью с нашим внутренним и внешним опытом, с фактическим составом действительности и его человеческой оценкой. Поскольку фактором деятельности является речь, она реализует элементы опыта, образующие содержание языка, в языковую систему. То, что Ф. Соссюр именуется языком в себе и для себя—особая фонематическая и грамматическая структура,—возникает в процессе речевого отображения состава опыта и образует языковую форму, как продукт соединения речевой техники с определенным содержанием. Попытка обнаружить источники становления данной формы неизбежно выводит из пределов «автономной», или гомогенной, лингвистики к экстралингвистическим факторам. Если исследование задается целью доискаться корней действительности, оно неизбежно вовлекается в общелогические концепции. Чрезмерная автономизация науки столь же пагубна, как безудержный национализм. Предметом лингвистики постоянно остается язык, но данный в образцах речи. Противопоставление их базируется на известной психологической аберрации. Под речью можно понимать как всю совокупность языковой деятельности, так и отдельный акт. В первом случае мы берем речь как целокупность понятия, во втором—как языковое событие. А последнее манифестирует понятие, но не покрывает его. Противопоставление языка и речи коренится на паралогизме, порожденном многозначностью термина *речь*. При этом широта понятия молчаливо подменяется представлением об изолированном

речевом акте, и научный пафос вполне обоснованно настраивается на изучение языковых ценностей.

Действительность языка неделима, и даже грамматический кодекс есть научное отвлечение от речевого обихода. Ограничение методов науки «физикалистскими», «антименталистскими» приемами (употребляя термины Л. Блумфильда), провозглашенное еще эмпириокритической ревизией т. н. метафизики, выхоластило из нее подлинную научную ценность и подогрело интерес к эпатуирующим концепциям (каковой в первую очередь является глоссематика Л. Ельмслева), в которых оригинальность замысла подменена оригинальничаньем. Не говоря уже о полном безразличии к дефиниции понятия «форма», не существует сколь-либо удовлетворительных определений терминов «структура» и «система»³. Никто не попытался представить, какой реальный облик имеет эта «структура». И такой незавидный результат неизбежен в тех случаях, когда дефиниция понятий осуществляется вне реалий.

Так как не существует «чистого» языка (как и чистой синхронии), рожденная из противопоставления «язык—речь» глоссематика занимается, по меткому замечанию Б. В. Горнунга, фикцией, такой же, как флогистон и жизненная сила. С целью оправдать импонирующую опустошенному сознанию схоластическую свистопляску и была придумана фикция «языка» как чистой формы. Всякое изучение формы проводится в недрах языковой субстанции, в которой отыскиваются не случайные подробности, а начала, облеченные культурной ценностью.

Էդ. Ավետյան

Խ Ո Ս Ք Ե Վ Լ Ե Չ Ո Ւ

(Ա մ փ ո փ ո լ մ)

Լեզուն հանդիսանում է հաղորդակցության հիմնական միջոցներից մեկը: Բայց այն միայնակիս սխտեմ չէ, որի ստեղծումը կարելի լինի վերագրել բացառապես մարդուն: Նրա հիմքը հանդիսանում է հաղորդակցակենսության համընդհանուր հատկությունը, որը հատուկ է այն ամենին, ինչ ընդունակ է միտք և զգացմունք շարժելու:

Այն բնական նյութը, որի վրա կերտվում է լեզուն, ներկայացնում է ոչ-կամայական ձայնային ազդանշան: Բայց այն մարդկայինացվում է ինտոնացիայի միջոցով, որը մարդկային լեզվի առաջին, բայց ոչ միակ հատկանիշն է: Ինտոնացիան շատ բանով է պայմանավորում լեզուն:

Հատկապես հարկ է նշել, որ «խոսք» և «լեզու» կատեգորիաներն անհնարին է միմյանցից բաժանել, մի բան, որը բնորոշ է որոշ լեզվաբանական ուղղություններին:

Հարաբերելով միմյանց որպես բովանդակություն և արտահայտություն մի կողմից, և որպես ձև ու բովանդակություն. մյուս կողմից, սյդ կատեգորիաները փոխադարձաբար պայմանավորված և անբաժանելի են:

³ Ср., например, определение А. А. Реформатского: «Для меня системы—это связь и взаимосвязь по горизонтали, а структура—это связь и взаимосвязь по вертикали» (См. сб.: «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», М., 1960 г., стр. 30). Известно ли самому А. А. Реформатскому, чему в действительном языке соответствуют эти горизонталы и вертикали?